

Коррупция и революция как структурные основания фикции государственного интереса (raison d'État)

РУСЛАН ХЕСТАНОВ



В КУРСЕ лекций «О государстве» Пьер Бурдьё вспоминает о модном жаргоне, царившем в социологии в период, когда он начинал научную карьеру. Любовь к слову «мутация» была универсальной. О ней говорили все и по любому поводу: «технологическая мутация», «медийная мутация» и т. п. Вместе с тем, рассказывает Бурдьё, даже самый поверхностный анализ вел к постановке фундаментального вопроса о том, насколько мощными являются механизмы воспроизводства, каковы причины упрямства, с которым общества воспроизводят сами себя, несмотря на бунты, мятежи, восстания и революции. Не механизмы мутаций, но совершенно противоположный факт вызывал удивление — «то, что порядок столь часто просматривается»¹. Иначе говоря, сообщество ученых проблематизировало то, что было проблемой второстепенной.

Рассказанная история поучительна предостережением: на ложный путь можно угодить уже на стадии постановки проблемы. Самым непосредственным образом она затрагивает предмет данной статьи, в центре которой будет два популярных сегодня в социальных науках сюжета: коррупция и революция².

1. Bourdieu P. Sur l'État. Cours au Collège de France 1989–1992. Paris: Raisons d'agir; Seuil, 2012. P. 258.
2. Квалификация массовых протестных, антиправительственных движений как революций зависит не только от научных определений понятия «революция», но от складывающейся политической конъюнктуры. Скажем, активисты протестного движения «За честные выборы» на нынешнем этапе подчеркивают принципиально неревolutionный характер движения,

Обе темы мобилизовали целые исследовательские специализации, превратившие коррупцию и революцию в самодостаточные предметные области.

И опять же, «самый поверхностный анализ» показывает, что оба понятия обладают, так сказать, природой атмосферической. Убежденность в том, что за этими понятиями стоят твердые и осязаемые предметы объясняется работой трех рискованных, но неизбежных для науки, тенденций.

Первую назовем *профанацией*: интенсивная циркуляция в научном обороте понятий коррупции и революции происходит под явным давлением средств массовой информации и в значительной мере является производной публичных обсуждений.

Вторую тенденцию опишем как *государственная фикция*. Социальные дисциплины непрерывно воспроизводят самую опасную для своего существования логику — политико-административную, когда проблема формулируется и воспринимается ровно так, как этого требует государственный интерес, ориентированный на технологию ее решения. Работая в логике государственного заказа, во имя достижения политической операциональности, научное исследование рискует видеть и мыслить коррупцию и революцию так же, как видит и мыслит их государство³. Наука приобретает прикладной характер, а ее аналитический инструментарий искусственно упрощается.

Наконец, третью тенденцию обозначим как развитие *автономного комплекса*. Выделение коррупции и революции в качестве автономных объектов анализа, в той или иной мере, непрерывно порождает опасность превращения их в политические универсалии, в сущности, обладающие автономной динамикой и закономерностями. Преодолеть такое реалистическое понимание объекта исследования помогает установка на картезианское сомнение и радикальный номинализм, на такую процедуру описания, которая внимательно относится к правилам, соглас-

трактуя революцию как угрозу обществу, нежелательный, но возможный результат конфронтации пробудившегося гражданского общества и ригидного, авторитарного политического режима власти. Их отказ от революционной самоидентификации, тем не менее, не снимает вопроса определения характера движения.

3. Государство, конечно, не может «видеть» или «мыслить». Известная метафора Джеймса Скотта «seeing like a state» удачным образом подчеркивает конструктивную и фиктивную природу «государственного взгляда», переводящего сложный и причудливый социальный иероглиф «в наглядный и административно более удобный формат» (Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. М.: Университетская книга, 2007. С. 19).

но которым разнородные симптомы группируются, конструируются в единую «болезнь», в одну сущность. Старое и доброе картезианство, непрерывно подозревающее объект исследования в том, что он иллюзорен, оказывается, однако, делом довольно трудным. Но единственной альтернативой такому картезианству является вера в существование объекта лишь в силу того, что он исследуется и обсуждается.

Перечисленные три тенденции — профанация, административная фикция и развитие автономного комплекса — ярче всего проявляются в нынешних российских дискуссиях вокруг коррупции. СМИ имеют склонность увязывать с коррупцией все больший перечень социальных и политических проблем: самые разные дефекты государственного аппарата, проблемы низкого экономического роста и хозяйственной эффективности, преступности и криминализации всех правоохранительных структур, уродства отечественного урбанизма и проблемы градостроительства, авторитарный и недемократический характер политических институтов, системные проблемы образования и здравоохранения, терроризм на Северном Кавказе, рудиментарно развитое нравственное сознание чиновников и пр. Все эти и другие проблемы так или иначе связаны с коррупцией. В конечном итоге, связь коррупции с этим стремящимся к бесконечности списком проблем обретает характер «необходимой связи», «автономного комплекса», требующего особенной политики. Создается иллюзия, что со всеми этими явлениями, имеющими разную природу и особую историю, можно справиться хорошо продуманной и последовательной антикоррупционной политикой. Не хватает лишь пары безделиц — политической воли и правильно сформулированной стратегии борьбы со злом.

Дискурс о коррупции превратился в активный компонент социального и политического кризиса; он все больше оказывает воздействие на его эволюцию. Крайне успешный лозунг протестного движения «Долой партию жуликов и воров!» крепко-накрепко связал «большой» дискурс о коррупции с «великим» дискурсом о революции.

Ожидание перемен высоко. Мы наблюдаем закат сконструированной при Путине партийной системы, растворяется харизма политических лидеров страны, неожиданно и почти ниоткуда выросло протестное движение, появились новые политические лидеры. Однако есть и другое, более монолитное и почти неподвижное измерение, о котором рассказывал Бурдье — «сила социального мира, которая покоится в организации (*orchestration*) бессознательных, ментальных структур. Ибо нет ничего сложнее, чем революционные изменения этих менталь-

ных структур. Потому-то столь часто революционные проекты создания нового человека терпят неудачу»⁴.

Возможно, употребляемые Бурдьё термины «бессознательное» и «ментальные структуры» выглядят сегодня не вполне удачными и изношенными. Мы на них настаиваем. Однако свое внимание сконцентрируем на тех инертных политических и социальных схемах коллективного действия, которые, несмотря на революции и перевороты, воспроизводят социальный порядок.

Главный тезис статьи состоит в следующем: коррупция и революция являются неустраняемыми аспектами процесса развития государства, государственного строительства, того что иногда называют процессом этатизации⁵. Более жесткая формулировка этого тезиса такова: революция и коррупция вписаны в государство *структурно*⁶, а потому углубление процесса этатизации неизбежно сопровождается усилением коррупции и интенсификацией протестных или революционных движений. Обосновать этот тезис нам помогут работы Мишеля Фуко и Пьера Бурдьё.

О ГОСУДАРСТВЕ

Революция и коррупция сопряжены не только дискурсивно, но также генетически. Именно после Великой французской революции значительно окрепла политическая идея о том, что правительственная власть производится народом, что она должна осуществляться только в интересах народа. И именно это радикальное и новое демократическое представление исторически послужило основанием криминализации коррупции⁷. Кодекс Наполеона (1810 год) впервые определил коррупцию гражданских служащих как преступление, приняв за злоупотребления уголовные наказания. Французская революция внесла

4. Bourdieu P. Op. cit. P.145.

5. Мы предпочли иностранное слово «этатизация», поскольку его буквальный перевод — «огосударствление» — в русском языке тесно ассоциируется с изменением форм собственности — с частной на государственную.

6. Принято говорить о структурной коррупции как о характеристике молодых, строящихся государств либо по отношению к историческим формам государств развитых до Великой французской и американской революций. См., например: Tiihonen S. Central Government Corruption in Historical Perspective // S. Tiihonen (Ed.). The History of Corruption in Central Government. Amsterdam: IOS Press, 2003. P.31.

7. Stessens G. The International Fight against Corruption. General Report // Revue internationale de droit pénal. 2001. №3. P.891.

отчетливое различие между частным интересом и публичным долгом, а также выдвинула требование, что первое не должно влиять на второе⁸.

Административная инновация Наполеона, введившая различие между частными интересами и публичным долгом чиновников, была воспринята как шаг дискриминационный. Ее рациональность была не столь очевидной, как может показаться сегодня. Ведь государственные служащие продолжали жить, полагаясь на «частные» источники доходов, а вовсе не на заработную плату. Заработная плата, как система вознаграждения чиновников, появилась лишь в середине XIX века, после того, как была введена в Англии. Так что разделение частного кармана и публичной казны — довольно недавнее явление.

Реформа Наполеона не была бы успешной, если бы не опиралась на относительно новое представление, захватившее воображение масс — представление о государственном интересе (*raison d'État*). Современность живет внутри очевидности различия частных и публичных интересов, полагая, что в той или иной мере это различие проводилось всегда. Опустим интереснейшую историю возникновения концепта «государственного интереса»⁹. Скажем, однако, что с помощью генезиса этого концепта Фуко и Бурдьё пытались обозначить ту реальность, которую мы называем государством.

Как Фуко, так и Бурдьё считают возможным говорить о государстве только при условии преодоления узости институционального подхода. Государство не сводится к учреждениям, в которых оно воплощено, к правовым нормам и кодексам, к аппаратам насилия и пр. Короче говоря, оно не сводится ко всему тому, на что прикладная политология или экономическая наука может указать пальцем и сказать: «Вот это — государство».

Не вдаваясь в детали и со значительной долей упрощения, можно сказать, что государство для них является не столько очерченной институтами реальностью, сколько принципом — принципом политического действия, различения и знания. Для Фуко государство представляет собой воплощение стратегической схемы. Он называет его «регулятивной идеей политики», «самой сущностью государства», «принципом прочтения реальности», а также «задачей (*objectif*) политического

8. Ibid. P. 905.

9. Развернутый рассказ о генезисе государственного интереса (*raison d'État*) см.: Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном году. СПб.: Наука, 2011. С. 313–404, или Foucault M. Sécurité, territoire, population. Paris: Gallimard; Seuil, 2004. P. 245–318.

разума», что придает государству проективное и даже утопическое измерение¹⁰.

Бурдьё высказывается еще радикальней, называя государство воплощением иллюзии:

Государство — это такая обоснованная иллюзия, которая имеет место в силу того, что мы верим в ее существование. Эта иллюзорная реальность, но коллективно признанная посредством консенсуса, является местом, к которому отсылает целый ряд феноменов — ученые и профессиональные звания или календарь. Именно эта мистическая реальность, существующая благодаря своим проявлениям и коллективной вере в ее существование, является принципом своих проявлений¹¹.

Как Фуко, так и Бурдьё определяют это фиктивное и иллюзорное нечто, анализируя концепт «государственного интереса» (*raison d'État*), характеризуя его как «принцип» интеллигибельности публичного или политического пространства. Не в «физике» учреждений и институтов они схватывают государство, не в «очевидных» материальных формах, но в стоящем за ними, «подразумеваемом», идеальном плане, в символических, культурных или «ментальных» структурах. В этой перспективе символическое измерение оказывается более инертным и фундаментальным по отношению к измерению институциональному, к спонтанным изменениям соотношения сил в политической жизни.

<...> государственный интерес (*raison d'État*), в сущности, я бы сказал, это нечто <...> консервативное, скажем, охранительное (*conservatoire*)¹².

Государство можно определить как принцип ортодоксии, то есть как скрытый принцип, который может быть схвачен только в проявлениях публичного порядка, понятый одновременно как физический порядок, противоположный беспорядку, анархии, и, например, гражданской войне. Скрытый принцип, схваченный в проявлениях публичного порядка, понятый как физический и как символический одновременно¹³.

Артикулируя эту фундаментальность и инертность символического, Бурдьё подвергает коррекции определение государства Макса Вебера. Государство, говорит он, является монополией на насилие. Но насилия символического, поскольку «монопо-

10. Ibid. P. 263, 294–295.

11. Bourdieu P. Op. cit. P. 25.

12. Foucault M. Op. cit. P. 263.

13. Bourdieu P. Op. cit. P. 15.

лия на символическое насилие является условием осуществления монополии на само физическое насилие»¹⁴.

Концепт государства, понятого как принцип, обладающий фиктивной, имагинативной, иллюзорной или символической природой, оказывается крайне неудобным для прикладной политической и экономической науки. Неудобным потому, что этот план символического не поддается контролю. Крайне трудно найти в этой схеме «подразумеваемого» или «бессознательного» место для субъекта-реформатора.

Какие выгоды сулит подход, претендующий на преодоление институциональной перспективы? Выход за пределы институтов позволяет посмотреть на них как на элементы более общего порядка, а также схватить в фокус те технологии власти, которые определяют логику множественности институтов. Пример Фуко: психиатрическая лечебница имеет свою институциональную плотность, строение, рационально и согласно необходимости распределенные помещения; однако она является следствием более общего и внешнего проекта — «общественной гигиены», направленной на все общество¹⁵.

Называя понятие «аппарат» троянским конем функционализма, Бурдьё также отвергает институциональный подход:

Система образования, государство, церковь, политические партии или профсоюзы являются не аппаратами, а полями. Внутри поля происходит борьба между агентами и институтами, следуя нормам и правилам, определяющим это пространство игры <...>. Те, кто в этой игре господствует на данном поле, обладают позицией, позволяющей заставить его работать в свою пользу, но они всегда должны считаться с сопротивлением, с оспариванием, требованиями, претензиями «политиков» или подвластными¹⁶.

Выход за пределы функций позволяет сравнить изначальный проект некоторого института с тем, что было достигнуто в результате его установления. При этом в фокусе остается общая экономия власти — использование агентами институтов, которое, как правило, отличается от заданной функции и программы.

Освободив проблематику государства от узости институциональной перспективы, Фуко и Бурдьё обнаруживают неожиданные структурные и исторические связи. Каждый по своему обращает внимание на структурно-генетическую связь коррупции и революции с государственным интересом (*raison d'État*).

14. Ibid. P.14.

15. Фуко М. Указ. соч. С.174.

16. Bourdieu P., Wacquant L. J. D. Réponses. Pour une anthropologie réflexive. Paris: Seuil, 1992. P.78–79.

Всякий шаг на пути продвижения государственного интереса (*raison d'État*), в том числе комплексной политики, именуемой сегодня «модернизацией», неизменно сталкивается с реакциями и сопротивлением, происхождение которых, на первый взгляд, кажется разным: с протестами, мятежами, переворотами, с одной стороны, и с ростом коррупции, с другой.

ГОСУДАРСТВО И КОРРУПЦИЯ

Самым главным источником коррупции Маркиз де Сад считал государство: «Учись, Жюльетт, что такое политика, проводимая всеми теми, кто поддерживает на самом высоком уровне коррупцию среди граждан. Пока подвластного одолевает гангрена, пока он слабеет в отрадах и дебошах, он не чувствует веса своих оков, его можно закабалить, пока он об этом не подозревает. Настоящая политика государства состоит в том, чтобы всеми возможными способами удесятерить коррумпированность подвластных»¹⁷. Похожий взгляд на природу коррупции распространен сегодня в среде исламистских идеологов, которые полагают, что она является следствием модернизации, вмешательства государства в дела уммы. С ним мы сталкиваемся всегда и везде, где фикция государственного интереса не обрела критически необходимой символической мощи.

Модернизаторы, с другой стороны, убеждены, что коррупция связана с герметичностью и непроницаемостью социального мира для государственного интереса. Европейцы, посещающие Африку, рассказывает Бурдьё, время от времени восклицают: «Ах, эти новые государства просто ужасны. Они не могут выйти из логики своего дома, там нет и следа государственного интереса». Такое преобладание частного интереса над государственным модернизаторы обычно и называют коррупцией.

Первая перспектива — выраженная де Садом и исламистами — обычно связывается с коррупцией моральной. Вторая перспектива — европейский взгляд на новые африканские государства — относится к явлениям правового порядка и непосредственно затрагивает легитимность государства. Современные исследования коррупции чаще всего выражают вторую перспективу; что не случайно, поскольку эти исследования, как правило, инкорпорировали в себя взгляд государства¹⁸. Однако и в пер-

17. *Sade D. A. F. Juliette, ou Les prospérités du vice // Sade D. A. F. Œuvres complètes. Paris: Le Cercle du Livre Précieux, 1967. T. VIII. P. 529.*

18. *Nuijten M., Gerhard A. An Introduction // Corruption and the Secret of Law: A Legal Anthropological Perspective / M. Nuijten, A. Gerhard (Eds.). Burlington: Ashgate, 2007. P. 1.*

вом, и во втором случае коррупция возникает там, где логика государства противостоит тем или иным социальным логикам воспроизводства. Различие перспектив, однако, не снимает, а драматизирует следующий вопрос о том, к какому, собственно, порядку можно отнести коррупцию: принадлежит ли она самому социальному миру, габитусу или же является неизбежным следствием процесса этатизации, экспансии государственных форм, всякого делегирования власти сувереном растущему аппарату чиновников?

Ахил Гупта, исследовавший на севере Индии дискурс о коррупции в местных СМИ, обнаружил, что в обыденном восприятии преобладает убежденность в том, что поведение эгоистической и своекорыстной местной бюрократии является отклонением от норм и законов, учрежденных существующим где-то «моральным центром»¹⁹. Сколь патриархальным бы ни был быт, он не мешает населению воспринимать идею государства как трансцендентную, не редуцируемую к ее коррумпированным воплощениям. С точки зрения Бурдьё, коррупция играет роль принципа диссоциации между реальным государством и теоретическим, между государством воплощенным в функционерах и государством, воплощенном в центральной власти²⁰. По мнению Фуко, коррупция только подчеркивает утопический и проективный план государства, государственного интереса.

Соблазн регрессии от государственного интереса (*raison d'État*) к частному интересу, «интересу собственного дома» (*raison maison*) существует всегда. Бурдьё объясняет эту постоянную опасность трудностью утверждения особой государственной логики, требующей «экстраординарных» усилий и правил, то есть тех правил, которые дестабилизируют привычный социальный порядок. Привычный мир требует от индивида проявлять заботу по отношению к родителям, поддерживать своих детей, помогать другу и пр. Однако государственный интерес требует от индивида прямо противоположного: если он делает «подарки» детям или отцу, то он нарушает публичный порядок:

<...> теоретически, в публичном мире нет больше ни брата, ни матери, ни отца <...>. В публичном мире (или в Евангелиях) мы добровольно отрекаемся от домашних или этнических святей, с помощью которых <проявляются> все формы зависимости и коррупции. Происходит становление публичного субъекта,

19. Gupta A. Blurred boundaries: the discourse of corruption, the culture of politics, and the imagined state // *American Ethnologist*. 1995. Vol. 22 (2). P. 375–402.

20. Bourdieu P. *Op. cit.* P. 330.

определением которого является служение той реальности, что трансцендентна локальным, партикулярным, домашним интересам, которая и является Государством²¹.

Непрекращающаяся игра, в которую государственная логика вовлекает социальный мир, приводит к радикальной трансформации социальных отношений. Они этатизируются, а всякое сопротивление государству на дискурсивном уровне фиксируется как нарушение публичного порядка или коррупция.

Логика государственного интереса находит в социальном мире как опору, так и препятствия. Опору она обретает в общности логик «raison maison» и «raison d'État»: в той мере, в какой дом является разновидностью корпоративного тела (*corpus corporatum*), осваивается логика «мышления дома», преданности дому, но одновременно эта же логика дома двигается к трансцендентной для агентов сущности. Решающим фактором является последующий процесс, когда мысль с точки зрения дома объективируется, канонизируется, кодифицируется юридическим дискурсом²².

Препятствием утверждению фикции *raison d'État* является, как ни парадоксально, процесс роста мощи государства, его институтов и учреждений. Потребность в непрерывной государственной экспансии ставит условного суверена²³ в ситуацию компромисса. Он взвешивает издержки между удержанием полномочий и их делегированием. Однако росту и усложнению общества с неизбежностью ведет к наращиванию структур управления. Экспансия и строительство государства осуществляется дифференциацией тел правителей. Суверенная власть вынуждена делегировать часть удерживаемых функций все большему числу уполномоченных; увеличение количества управленческих звеньев расширяет возможности злоупотреблений. И теперь «каждый уполномоченный может делать для себя то, что делает для самого себя король», поэтому, полагает Бурдьё, лучше всего представить «процесс развития государства <...> как процесс размножения делением»²⁴. И именно этот процесс делегирования вписывает коррупцию в саму структуру государства,

21. Ibid. P. 407.

22. Ibid. P. 408.

23. Сам суверен также является уполномоченным. Например, абсолютный монарх уполномочен своим «домом» проводить династическую политику (Бурдьё П. От «королевского дома» к государственному интересу: модель происхождения бюрократического поля // Социологический анализ Пьера Бурдьё. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской Академии наук. СПб.: Алетейя, 2001. С. 146).

24. Bourdieu P. Op. cit. P. 433.

в логику его становления. Иначе говоря, потенциал коррупции умножается по мере того, как суверенная власть воспроизводит себя как при разделении, так и при делегировании функций²⁵.

Рост государства через делегирование имеет риск, связанный с деперсонализацией суверена, с растворением харизмы власти в растущей массе уполномоченных. Риск этот компенсируется тем, что Бурдье, называет «институциональным лицемерием», или «перманентной шизофренией». Речь идет о центральной и универсальной черте, свойственной как суверену, так и всей армии его бюрократических клонов — о «самозванстве» и манере говорить как от своего собственного имени, так и от имени государственного тела. Выражается эта манера в тропе прозопопеи, примером которого может служить известный афоризм Людовика XIV: «Государство — это я» — или же относительно недавнее высказывание Д. Медведева: «У меня не реплики, а приговор... <В>се, что я говорю, в граните отливается» (произнесено 25.09.2009 на совещании по инновациям).

В модели Бурдье самозванство обладает вполне естественной двойственностью: присвоение универсального продвигает саму универсальность. Иными словами, злоупотребление властью поддерживает государственный интерес (*raison d'État*). И государственный интерес, в свою очередь, становится ставкой в борьбе множества частных и публичных перспектив. Под тенью универсального государственного интереса происходит множество операций обмена присвоенным капиталом между бюрократами и нотаблями — это самые большие транзакции, на которых основана государственная служба. И не обязательно обмен происходит в денежных эквивалентах; обмениваться можно также и респектабельностью. Оспаривание универсального, вовлечение в это оспаривание множества уполномоченных и разных социальных групп, превращает государство в пространство политической конкуренции. Поэтому сама борьба сообщает свой смысл процессу роста и усиления государства как принципа, как логики государственного интереса. И тогда появляется возможность для того, чтобы даже воинственная песня, «направленная против лжи законов и королей, песня, породившая в конечном счете первую форму революционного дискурса, превратилась в административную прозу государства»²⁶.

25. Надо отдавать отчет в том, что Бурдье представляет лишь схему становления государственности модерна. Делегирование в реальной истории могло осуществляться не как уполномочивание, а как создание сувереном альянсов, например, с финансовыми группами.

26. Фуко М. «Нужно защищать общество». Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году. СПб.: Наука, 2005. С. 98.

ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ

«До Французской революции коррупция была явлением почти конституционно одобренным»²⁷ — в этом тезисе, который, скажем, не очень отличается оригинальностью, содержится, однако, указание на то, что следует внимательно присмотреться к той связи, которая существует между революциями и коррупцией. Если иметь в виду совсем недавнее прошлое, то, как замечает Тийхоннен вслед за многими исследователями коррупции, бум научных публикаций по этой теме наступил в 90-ые годы. А эпицентром, распространявшим этот интерес, были бывшие социалистические страны, только что пережившие революционные изменения и приступившие к строительству новых государственных образований.

За двадцать лет до Великой французской революции тот буквальный смысл, который мы сегодня ухватываем в термине «революция», был скорее метафорическим. В первом своем значении он отсылал к вращению небесных светил, но, как определяет «Словарь Французской Академии», «революция» только «в фигуральном смысле обозначает изменения, происходящие в публичных отношениях, в общественных делах»²⁸.

Много ближе, с точки зрения историко-генетического анализа, что демонстрирует Мишель Фуко, к нынешнему значению «революции» было другое выражение — «государственный переворот» (*coup d'État*). Все тот же «Словарь Французской Академии», но изданный, в отличие от только что упомянутого, 13 лет спустя дает такое определение государственному перевороту: «Государственным переворотом называется энергичное и порой насильственное решение, которое Государь или Республика обязывают принять против тех, кто расстраивает Государство»²⁹. Для нас в этом определении содержится нечто неожиданное: «государственный переворот», оказывается, совершала сама суверенная власть; мы же, скорее, склонны были бы отождествить «тех, кто расстраивает Государство», тех, кто отчужден от власти, с силой, совершающей государственный переворот.

В подробном анализе Фуко концепта «*coup d'État*» делается прямое указание на эту историческую перверсию³⁰. Прямого объяснения причины мы у него не находим. Однако косвенным образом его анализ указывает, что «извращение» смысла

27. *Tiihonen S.* Op. cit. P. 4–5.

28. *Dictionnaire de l'Académie Française.* Paris: Pierre Beaume, 1765. Vol. 2. P. 443.

29. *Dictionnaire de l'Académie Française.* Paris: Pierre Beaume, 1778. Vol. 1. P. 472.

30. Фуко М. Безопасность, территория, население. С. 342–349.

концепта происходит благодаря Французской революции. Будучи важнейшим этапом в жестокой борьбе за утверждение государственного интереса (*raison d'État*), эта революция стала историческим триумфом государственного порядка. Революция была лишь военным инструментом третьего сословия, взявшего на себя миссию универсализации и этатизации. Она увидела в республиканских формах режим правления, более адекватно реализующий государственный интерес (*raison d'État*), чем династические формы и принципы. После того, как «королевский дом» был признан тем, «кто расстраивает государство», был задан новый смысловой стандарт концепта «*соуп d'État*», а также и революции. Именно с тех пор профанное восприятие ассоциирует государственный переворот с насильственным переходом политической власти от одной «группы» к другой, а революция — с восстанием масс против узурпаторов.

Поэтому в современное профанное восприятие можно внести следующую смысловую коррекцию: как *соуп d'État*, так и революцию можно понимать не как переворачивание верха и низа, когда подчиненная группа или «низы» вдруг перехватывают власть или становятся «верхами», но как восстание тех слоев населения, которые убеждены, что они являются носителями государственной идеи, «*raison d'État*». «*Мы сражаемся с королем, чтобы защитить Короля*», — таким был боевой клич английских пуритан, выражавший одновременно их воодушевление определенным нормативным порядком и убежденность в коррумпированности правящего здесь и сейчас королевского дома. Это отличие нормативного и актуально существующего было своеобразным отголоском попыток юристов позднего Средневековья, стремившихся установить ясное отличие между «*волей Короны и тем, что желает король*»³¹.

В этом смысле, результатом революции, как восстания против монополистов и узурпаторов государственного интереса, можно считать более высокую степень интегрированности в государство социального мира, способов воспроизводства новых социальных групп. Так что, говоря о революциях, лучше вести речь не о переворачивании «верха» и «низа», но о том, что слои (городской буржуазии или городского пролетариата), которые интериоризировали государственный интерес, энергично включаются в созидание государственного порядка. Революция, таким образом, является результатом процесса демократизации фикции государственного интереса (*raison d'État*),

31. Kantorowicz E. H. *The King's Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology*. Princeton: Princeton University Press, 1997. P. 18.

социальным импульсом скорее к порядку, чем к хаосу. Революция — это углубление процесса этатизации.

Военная мощь Российской империи позволяла осуществлять контроль над обширными территориями Евразии. Однако едва ли она интегрировала всех ее обитателей в политическую жизнь или в экономические игры обмена, выходящие за пределы локальных традиционных миров. Именно Октябрьской революции удалось значительно повысить степень интегрированности в государство как самых отдаленных уголков империи, так и наиболее маргинальных социальных слоев. Империя требовала довольно слабой лояльности по отношению к имперскому центру. Она была нетребовательной к жителям русских деревень, отдаленных кишлаков и горных аулов. Зато Советский Союз резко повысил мобилизационную отдачу.

Французская и Октябрьская революции были самыми великими манифестациями государства и государственного интереса. Ужас перед порожденным ими «тоталитаризмом» есть не что иное, как интуитивный страх перед государством как практикой, устанавливающей новые отношения социального мира с правительством³². Обе революции обнаружили мощный импульс преобразования всех социальных отношений — этнических, семейных, классовых и пр. — в государственные; революция, таким образом, структурно вписана в государство. Успешная революция ведет не столько к хаосу, сколько к усилению государственного порядка.

СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС И ПРОТЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Каким бы «зрелым» ни казалось государство, его структурной возможностью всегда будет революция. Воплощенное в актуально существующих институтах государство всегда будет выглядеть неполным, преходящим, коррумпированным или несовершенным по сравнению с государственным интересом как задачей и проективной фикцией. Из описанной нами теологии *raison d'État* следует, что сам цикл революционных замещений модерна одного тела суверена — другим (короны — суверенным народом, диктаторов или авторитарных правителей на парламенты, одного президента — другим) по определению не может иметь завершения. Революция будет фундаментальной характеристикой политики до тех пор, пока общества подчинены ло-

32. Фуко М. Безопасность, территория, население. С. 361.

гике *raison d'État*. Арабская весна, движения *indignados* в Испании и Occupy Wall Street в США, а также российское протестное движение «За честные выборы» — сама одновременность массовых протестов в разных частях планеты — могут служить хорошей тому иллюстрацией.

Суббота, 5 марта 2012 года... Движение двух кортежей (уходящего президента Медведева и избранного президента Путина) по очищенной силами полиции от людей Москве, породило пронзительный по силе образ — «Президент пустоты», который быстро распространился в социальных сетях и СМИ. Совсем недавно Владимира Путина называли «государственником». Он был неоспоримой и практически единственной реинкарнацией государственного интереса для всего населения Российской Федерации. Однако пустая Москва в день инаугурации стала свидетельством произошедшего семантического коллапса — диссоциации идеи государства и Путина. Официальные телевизионные каналы многократно усилили этот эффект, транслируя в эфире продвижение изолированных от людских масс торжественных кортежей.

Пустота образовалась на месте, где только что было тело суверена. И эта пустота переживается как настоятельная необходимость замены актуально действующего президента Путина иным телом, воплощающим верховенство государственной власти. В перспективе популярной политологии произошедшее можно изобразить как результат серии политических ошибок руководства страны и Владимира Путина. Однако, с точки зрения политической теологии *raison d'État*, произошедший коллапс — очередное свидетельство того, что любое тело, любая техника репрезентации, является неадекватной государству как задаче, как тому, что должно быть сделано.

Для протестного движения неадекватность репрезентации дана в «очевидности» коррумпированности Владимира Путина, партии власти, олигархического режима, всего актуально существующего госаппарата. Эта очевидность превращается в основание оспаривания и присвоения протестом права на представительство государственного интереса.

Произошедший в России на рубеже 2011–2012 лет семантический коллапс можно было бы назвать чисто российской историей, историей характерной для страны с рудиментарно развитыми демократическими институтами. Однако схожие процессы мы имеем возможность наблюдать сегодня в развитых демократических странах, в том числе, в стране, которую называют образцом демократии, в Соединенных Штатах.

Перечислим кратко сходства происходящих процессов.

Партикулярность протестных движений и претензия на универсализм государственного интереса. В обеих странах

протестные движения проявили свою партикулярность, то есть были по преимуществу урбанистическими, локализованными. Особенно это проявилось в РФ, поскольку в движении приняли участие специфические слои жителей мегаполисов. Вместе с тем, протестные движения выражали универсальные требования изменения режима власти. И в России, и в США протестующие недовольны тем, как ими правят. Актуально существующие режимы правления они характеризуют как олигархические. Оккупанты Уолл-Стрит источник коррумпированности власти усматривают в тотальном господстве частных корпораций и в приватизации ими государства и всех институтов представительной демократии. В России — в приватизации государства кликой или олигархической группой, которая представляет собой альянс государственных чиновников и приближенной бизнес-элиты. Утопической перспективой обоих движений является универсальный новый порядок свободы и справедливости «для всех»³³.

Кризис политической репрезентации. Главная претензия протестов обращена к функционированию представительной демократии. У оккупантов в США, как, впрочем, и у испанских *indignados*, критика направлена против принципа политического представительства как такового. С самого начала, активисты движения продвигали идею «прямой демократии», опасаясь, что с помощью технологий представительства (партийного, например) «Система» попытается коррумпировать и растворить движение в традиционных политических институтах. Движение провозгласило одним из главных принципов организации отказ от политического лидерства, централизации и иерархии движения. Ведь в распоряжении «Системы» есть широкий спектр возможностей воздействия на движение через лидеров: диффамация и шантаж, вовлечение в переговорный процесс с целью кооптирования лидеров в политическую номенклатуру, прямой и косвенный подкуп и пр. Табу на лидерство и централизацию особенно часто подчеркивается; ссылки делаются на прямую демократию у квакеров, древних афинян, а также на опыт соратников в лице испанских *indignados*. В блогах «оккупантов» можно прочесть цитаты и парафразы из Делеза или Фуко, вро-

33. Я благодарен профессору политической науки Университета Санта Круз Майклу Урбану, который обратил внимание, что в США не только левые протестные движения захвачены сегодня универсализмом государственного интереса. Правые радикальные движения столь же активно оспаривают у политического истеблишмента государственные компетенции, создавая, в частности, подразделения гражданской милиции, патрулирующие границу с Мексикой, предотвращая проникновение нелегальных иммигрантов.

де такого: «Группа не должна быть органическим единством иерархизированных индивидов, но генератором непрерывной де-индивидуализации».

На первый взгляд кажется, что российское протестное движение выступает как раз за развитие институтов политического представительства, желая заменить коррумпированные парламент, президента, губернаторов на некоррумпированных. Создается впечатление, что российский народ, мечтая о честных выборах, остается «последним народом» Европы, который верит, что репрезентативная демократия имеет смысл. Хотя движение «За честные выборы» не артикулировало недоверия к представительной демократии как таковой, но оно, как протестная масса, постоянно сопротивляется узурпации политического лидерства со стороны оппозиционных профессиональных политиков. Признанными всеми участниками протеста лидерами оказались не оппозиционные политики, а «безопасные» писатели и деятели культуры, лишённые властных амбиций.

Протестный экуменизм и «аполитичность». Одна из самых распространенных характеристик, которую дают российскому протестному движению, — его «аполитичность». Аполитичность подчеркивается, когда его называют «гражданским», противопоставляя так называемой несистемной политической оппозиции. Но похожим образом квалифицируют протесты в Испании, Греции и США.

У протестующих в разных странах есть одно идентичное послание: между нами нет этнических, расовых и социальных разногласий; мы едины в том, что есть эгоистическое меньшинство (1%), власть которого делает нашу жизнь невозможной; наше единодушное неприятие этого меньшинства сильнее отличий в наших убеждениях; нас — 99%.

Социальные движения не препятствуют присутствию партий на митингах, но сознательно избегают партийной идентификации и поощряют пестроту движения. В США были попытки вовлечь в движение представителей правого популизма — Партию чаепития. Один из советов посетившего лагерь «оккупантов» Славоя Жижека сводился именно к тому, чтобы «оккупанты» не «влюбились в себя», а интегрировали в свои ряды консервативных поклонников Сары Пэйлин.

В России протесты интегрировали несистемных левых интернационалистов и правых националистов. Кстати, в Египте, несмотря на довольно успешные попытки нынешней переходной военной власти расколоть христиан и мусульман, заметная часть коптов все же нередко голосовала на последних общенациональных выборах за кандидатов от братьев-мусульман.

Отсутствие программных требований. Практически во всех странах протесты критикуются за неспособность сформулировать список требований правительству. Отсутствие конкретных требований правительству изображается как выражение иррациональности движения.

Однако американские «оккупанты» ввели запрет на выдвижение требований и конкретных программ совершенно осознанно. Их отказ от предъявления политических требований свидетельствует о произошедшем семантическом коллапсе — об отказе видеть в государственных институтах легитимных носителей фикции *raison d'État*. Протест оккупантов оспаривает и присваивает эту функцию: какой смысл выдвигать требования узурпаторам?

Главная цель формулируются оккупантами скорее метафорически или перформативно — как возвращение обществу публичных пространств, захват площади и строительство институтов прямой демократии: «Оккупируйте все. Никаких требований. Оккупируйте, оккупируйте, оккупируйте, оккупируйте!...»

Важной чертой всех движений является их ясно выраженный патриотизм. Интернациональные ценности участники движений протеста выражают столь же часто, как и патриотические. В России это выразилось в полемике о том, кто на самом деле сотрудничает с Госдепом США — «продавшаяся» Западу оппозиция или же правящая «продажная» элита, сосредоточившая свои капиталы в офшорах.

Отрицание легитимности государственных институтов, в том числе и законодательных, убежденность в невозможности каких бы то ни было переговоров с ними, целесообразности и осмысленности предъявления правящим коалициям требований — все это подчеркивает, что протестный проект представляет собой не что иное, как запрос на новый публичный порядок, новые основания конституции общества. Поэтому можно сказать, что вопреки подчеркнуто уважительному отношению к Закону, апелляциям к праву, утопическая проекция современных протестов в пределе предполагает не только коренное изменение режима власти, но также изменение конституционного строя. Хотя акции протеста носят, в принципе, ненасильственный характер, но их цели представляют собой логику «*coup d'État*», государственного переворота, превосходящего действующее право: «Чрезвычайные действия вопреки общему праву»³⁴. Они направлены против господствующего публичного порядка, но движимы импульсом к универсализации государ-

34. Там же. С. 342.

ственного интереса, то есть против его узурпации узкой правящей кликой.

Политическое соперничество продвигает одну и ту же логику государственного интереса, укрепляет позиции универсального, поскольку само государство превращается в арену политической борьбы. Как революцию, так и антикоррупционную агитацию можно считать, таким образом, производными нормативного давления, сопровождающего процесс этатизации. Запрос на новый государственный порядок и новую норму исходит сегодня не от правительств, а от протестных движений. Утрата правительствами нормотворческой инициативы свидетельствует об изношенности современных моделей политической репрезентации и о наступлении эпохи «новой нормы».